

В.П. Мещеряков

Автор

Автор в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» является одновременно и режиссером созданного им театра, и участником событий, причем тональность его позиции постоянно меняется — от элегической до сатирической.

Во Введении Автор характеризует свое творение как произведение, написанное «рукой пристрастной»:

...собрание пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Обращаясь к своим почитателям («Друзья Людмилы и Руслана»), Автор представляет Онегина в качестве своего «доброего приятеля» и одновременно сообщает подробность своей биографии, понятную кругу друзей («вреден север для меня»).

Позднее Автор уточняет обстоятельства своего знакомства с Онегиным:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.

В Онегине Автора привлекают «неподражательная странность и резкий охлажденный ум». И тот и другой познали «страстей игру», «в обоих сердца жар угас», «обоих ожидала злоба слепой фортуны и людей». Нравятся Автору и умение Онегина вести «язвительный спор», его желчные шутки и мрачные эпиграммы; не раз бродили они светлыми летними ночами по уснувшей столице, стояли над дремлющей Невой. Вместе с Онегиным Автор собирался путешествовать по «чуждым странам», но по воле случая разошлись (у Онегина умерли отец и дядя, и он уехал в унаследованное имение).

От воспоминаний о прошлом Автор переходит к сетованиям на свою судьбу:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

Следуя за своим героем в театр, Автор дает беглый очерк истории русского театра:

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;

Там Озеров невольны дани
 Народных слез, рукоплесканий
 С младой Семеновой делил;
 Там наш Катенин воскресил
 Корнеля гений величавый;
 Там вывел колкий Шаховской
 Своих комедий шумный рой,
 Там и Дидло венчался славой,
 Там, там под сению кулис
 Младые дни мои неслись.

Но все это в прошлом. Тогда балерины и певицы казались «богинями». Ныне их место на сцене заступили другие актрисы, уже не волнующие Автора.

Описание туалета Онегина порождает у Автора поток свободных ассоциаций, касающихся самых различных предметов, причем суждения эти чаще всего приобретают чеканную афористическую форму:

Быть можно дельным человеком
 И думать о красе ногтей:
 К чему бесплодно спорить с веком?
 Обычай деспот меж людей.

И при изображении бала Автор не детализирует картины, а передает свои воспоминания и ощущения, рассуждает о былых празднествах и тех красавицах, чьи легкие ножки еще и сейчас тревожат сердце поэта.

Дианы грудь, ланиты Флоры
 Прелестны, милые друзья!
 Однако ножка Терпсихоры
 Прелестней чем-то для меня.

.....

Я помню море пред грозою:
 Как я завидовал волнам,
 Бегущим бурной чередою
 С любовью лечь к ее ногам!

Таким образом, уже в начале романа личность Автора временами выходит на первый план повествования, становясь одним из персонажей произведения, побуждая читателя ждать новых мыслей, оценок и биографических подробностей.

Я был рожден для жизни мирной,
 Для деревенской тишины:
 В глуши звучнее голос лирный,
 Живее творческие сны.
 Цветы, любовь, деревня, праздность,
 Поля! я предан вам душой.
 Всегда я рад заметить разность
 Между Онегиным и мной,

дабы «насмешливый читатель» не вообразил, что в романе начертан автопортрет поэта.

Как будто нам уж невозможно
 Писать поэмы о другом,
 Как только о себе самом.

Перечитав первую главу, Автор признается, что обнаружил в ней немало противоречий,

Но их исправить не хочу...

Во второй главе «удельный вес» прямого вмешательства Автора в повествование несколько снижается, но тем не менее он не скрывает своего присутствия. Так, по поводу внешности Ольги он замечает, что подобный портрет красавицы легко обнаружить

в любом современном романе. Такой идиллический образ и сам он прежде любил, однако теперь «надоел он мне безмерно».

Автор считает необходимым обосновать свой выбор «простонародного» имени героини.

Ее сестра звалась Татьяна...
 Впервые именем таким
 Страницы нежные романа
 Мы своевольно освятим.
 И что ж? оно приятно, звучно;
 Но с ним, я знаю, неразлучно
 Воспоминанье старины
 Иль девичьей...

Поведав типовую историю жизни стариков Лариных, Автор приходит к выводу о постоянной повторяемости событий и судеб и неотвратимости печального жизненного финала любого из смертных:

Увы! на жизненных браздах
 Мгновенной жатвой поколенья,
 По тайной воле провиденья
 Восходят, зреют и падут;
 Другие им вослед идут...
 < ... >
 Придет, придет и наше время,
 И наши внуки в добрый час
 Из мира вытеснят и нас!

Не отделяя себя от всех прочих, Автор признается, что не хотел бы, как большинство, исчезнуть, не оставив о себе памяти, и не только у родных.

Живу, пишу не для похвал;
 Но я бы, кажется, желал
 Печальный жребий свой прославить,
 Чтоб обо мне, как верный друг,
 Напомнил хоть единый звук.
 Быть может, в Лете не потонет
 Строфа, слагаемая мной...

Творчество, литература — постоянный и важный предмет размышлений Автора. В третьей главе, представляя читателю Татьяну, он сравнивает старый тип литературного героя с современным. Прежде центральный персонаж романа всегда выглядел как «совершенства образец», постоянно жертвующий собой, хотя в конце концов «всегда наказан был порок, / Добру достойный был венок». Новая словесность избегает морализирования: в ней, наоборот, «порок» торжествует («лорд Байрон прихотью удачной / Облек в унылый романтизм / И безнадежный эгоизм»). Если Автор когда-нибудь «унизится» до «смиренной прозы», то напишет роман «на старый лад». В нем будут воспроизведены «преданья русского семейства, / Любви пленительные сны / Да нравы нашей старины» со свадьбою в финале.

В настоящий же момент Автор не скрывает своего сочувствия к Татьяне:

Татьяна, милая Татьяна!
 С тобой теперь я слезы лью;
 Ты в руки модного тирана
 Уж отдала судьбу свою.
 Погибнешь, милая; но прежде
 Ты в ослепительной надежде
 Блаженство темное зовешь,
 Ты негу жизни узнаешь,
 Ты пьешь волшебный яд желаний...

Образ Татьяны выглядит особенно привлекательным при сравнении с теми неумолимо добродетельными красавицами, что попадались Автору и для которых «внушать любовь... беда», а пугать поклонников — «отрада». Татьяна же виновата лишь в том, что, «послушная велению чувства», доверчиво смотрит на мир и «любит без искусства».

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.

Автор не стремится представить свою героиню некой идеальной девой. Он не скрывает, что Татьяна

...по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалась с трудом
На языке своем родном.
Итак, писала по-французски.

В нетвердом владении письменной речью повинна не одна Татьяна, разве и у прочих дам «язык чужой/ Не обратился ли в родной?». Впрочем, к ученым дамам, к «академикам в чепце», Автор испытывает предубеждение:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи...

В четвертой главе Автор появляется лишь после объяснения Онегина с Татьяной и, кратко охарактеризовав поведение Онегина («души прямое благородство»), делится своими наблюдениями о светской дружбе. «Уж эти мне друзья! Об них недаром вспомнил я» — ибо нет такой нелепицы и клеветы, которую ваш друг с улыбкой, «без всякой злобы и затей» не повторил бы прилюдно.

А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!
Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя...

Вместе с Ленским, завладев альбомом Ольги (в нем юный поэт запечатлевал откровения своей музы), Автор обрисовывает типичный альбом уездной барышни и светской дамы. В первом — «назло правописанью / Стихи без меры», клятвы в любви и дружбе «до гробовой доски», изображения сердец, факелов и цветов... Во втором — рисунки знаменитых художников, строки прославленных поэтов... Но именно от этих альбомов Автора бросает «в дрожь и злость», потому что владельцы этих альбомов постоянно эксплуатируют его:

И шевелится эпиграмма.
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

В описание поздней осени, сделанное в нарочито объективном тоне, вдруг неожиданно включается голос Автора, который словно перебивает самого себя:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!)

Пятая глава открывается зимним пейзажем, ставшим хрестоматийным:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь...

Легкая авторская ирония ощущается в обращении к читателю, который, возможно, не найдет в этих строках «изящного» («Все это низкая природа»), тем более что первый снег, как указывает Автор, уже описан «роскошным слогом» (Вяземский) и изображен «певцом финляндки молодой» (Баратынский).

И в подробном перечне гостей, приглашенных на именины Татьяны, Автор на мгновение мелькает в пестрой толпе [«Мой брат двоюродный, Буянов... (Как вам, конечно, он знаком)...»]. Здесь Автор не просто обнаруживает себя, он прибегает к реминисценции (Буянов — герой поэмы «Опасный сосед», написанной В.Л. Пушкиным, дядей поэта).

Предугадать появление Автора в романе не представляется возможным. Так, упоминание о карточной игре, затеянной гостями Лариных после праздничного обеда, Автор демонстративно продолжает рассуждать о «низких предметах»:

Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет;
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

Наконец Автор «спохватывается», что до сей поры делал слишком много отступлений:

Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

Однако очень скоро Автор «забывает» о своем намерении и снова делится с читателями своими соображениями о танцах.

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Все те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

По завершении дуэли Автор снова отвлекается от основной сюжетной линии (два возможных варианта судьбы Ленского), вообще как бы «теряет» нить повествования, обещая со временем дать полный отчет о том, что случилось с Онегиным и Татьяной.

Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего...
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.

Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где вечная к ней рифма младость?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

<.. >

Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

Седьмая глава вновь открывается пейзажной зарисовкой, известной каждому с детства:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями...

Картина эта проникнута мажорным настроением, но одновременно Автор обнаруживает и другое отношение к «утру года»:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

В поле зрения Автора попадают самые различные явления и предметы, порой лишь косвенно связанные с непосредственным объектом повествования. Например, в связи с отъездом Лариных из деревни Автор размышляет о технических возможностях отечества в будущем, причем предвидение это слегка окрашено иронией:

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дутой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

Заканчивается долгое и скучное путешествие Лариных, они въезжают в Москву. Но бывшая столица представлена в романе не глазами Татьяны, а в восприятии Автора:

Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,

Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

В начале восьмой главы Автор вообще становится почти равноправным, если не центральным, персонажем романа. Он вспоминает о начале своей литературной деятельности:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Муза сопровождала Автора и в «шуме пиров и буйных споров», скакала с ним по скалам Кавказа, посещала «в глуши Молдавии печальной» шатры «племен бродящих»...

Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.
И ныне музу я впервые
На светский раут привожу.

Среди этого шумного сборища возникает Онегин, и сразу же в его адрес сыплются колкие сравнения, намеки. Автор заступает за своего героя, доказывая, что «в свете» только посредственность воспринимается без раздражения, тогда как «пылких душ неосторожность / Самолюбивую ничтожность / Иль оскорбляет, иль смешит...»

На эпизоде объяснения Татьяны с Онегиным нить повествования неожиданно обрывается.

И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь, оставим,
Надолго... навсегда.

Автор отказывается от традиционного конца, при котором роман завершается свадьбой или гибелью действующих лиц.

Последняя строфа романа сначала переводит повествование из конкретно-индивидуального в абстрактный план, с тем чтобы стереть грань между литературным вымыслом и реальностью:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано

Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.